

Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками; но в церкви хочу *лучше* пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на *незнакомом* языке.

1 Кор. 14, 18–19

Часть
ПЕРВАЯ

1.

Декабрь, 1985 г., Бостон.

Эва Манукян

Я всегда мерзну. Даже летом на пляже, под обжигающим солнцем, холод в позвоночнике не проходит. Наверное, потому, что я родилась в лесу, зимой, и первые месяцы моей жизни провела в отпоротом от материнской шубы рукаве. Вообще-то я не должна была выжить, поэтому если уж кому жизнь подарок, то мне. Только не знаю, нужен ли мне был этот подарок.

У некоторых людей память о себе включается очень рано. Моя начинается с двух лет, со времен католического приюта. Мне всегда было очень важно знать, что происходило со мной и моими родителями все те годы, о которых я ничего не помню. Кое-что я узнала от старшего брата Витека. Но он в те годы был слишком маленьким, и его воспоминания, которые перешли мне от него в наследство, не восстанавливают картины. Он в больнице исписал половину школьной тетрадки —

рассказал мне все, что помнил. Тогда мы не знали, что мать жива. Брат умер от сепсиса в шестнадцатилетнем возрасте до ее возвращения из лагеря.

В моих документах местом моего рождения называется город Эмск. В действительности это место моего зачатия. Из Эмского гетто моя мать сбежала в августе 1942 года, на шестом месяце беременности. С ней был мой шестилетний брат Витек. Родилась я километрах в ста от Эмска в непроходимых лесах, в тайном поселении сбежавших из гетто евреев, укрывавшихся там до самого освобождения Белоруссии в августе 1944 года. Это был партизанский отряд, хотя на самом деле никакой это был не отряд, а три сотни евреев, пытавшихся выжить в оккупированном немцами крае. Мне представляется, что мужчины с оружием скорее охраняли этот земляной город с женщинами, стариками и несколькими выжившими детьми, чем воевали с немцами.

Отец мой, как рассказала мне много лет спустя мать, остался в гетто и там погиб — через несколько дней после побега все обитатели гетто были расстреляны. Мать сказала мне, что мой отец отказался уходить, считая, что побег только озлобит немцев и ускорит расправу. И тогда моя беременная мать взяла Витека и ушла. Из восьмисот обитателей гетто на побег решились тогда только триста.

В гетто согнали жителей Эмска и евреев из окрестных деревень. Мать моя не была местной жительницей, но оказалась в тех краях не случайно, а была заслана туда связной из Львова. Она была одержимой коммунисткой. Витека родила она в львовской тюрьме в тридцать шестом от своего партийного товарища, а меня от другого мужчины, с которым познакомилась в гетто. В жизни я не встречала женщины, менее склонной к материнству, чем моя мать. Думаю, что родились мы с братом исклю-

чительно из-за отсутствия превентивных средств и абортариев. В юности я ее ненавидела, потом много лет отчужденно изумлялась и до сего дня едва терплю общение с ней. Слава богу, крайне редкое.

Всякий раз, когда я задаю ей какой-нибудь вопрос о прошлом, она ощетиливается и начинает орать: в ее глазах я всегда оставалась аполитичной мешанкой. Я и есть такая. Но я родила ребенка, и я точно знаю: когда появляется ребенок, жизнь женщины подчиняется этому факту. Больше или меньше. Только не у нее. Она — партийная маньячка.

Месяц тому назад меня познакомили с Эстер Гантман. Такая прелестная прозрачная старуха, очень белая, с высиненной сединой. Она приятельница Карин, они работали вместе в какой-то благотворительной организации, и Карин давно мне про эту Эстер говорила, но я ею совершенно не заинтересовалась. Незадолго до Рождества Карин устроила прием по поводу своего пятидесятилетия, и я сразу обратила внимание на Эстер. Она чем-то выделялась в большой толпе полужнакомого народа. Вечеринка эта была намного сердечнее, чем это бывает обыкновенно у американцев: все-таки было много поляков, несколько русских и пара югославов. Словом, славянское присутствие на этом американском празднике как-то приятно ощущалось, временами слышалась польская речь.

По-русски и по-польски я говорю одинаково свободно, а в английском у меня польский акцент, на что и обратила внимание Эстер, когда мы перебрасывались какими-то незначительными репликами в пределах светской болтовни.

— Из Польши? — спросила она.

Этот вопрос меня всегда немного озадачивает: мне трудно ответить — не станешь же вместо лаконичного от-

вета бросаться в пространный рассказ о том, что мать моя родилась в Варшаве, а я родилась в Белоруссии неизвестно от кого, детство провела в России, в Польшу попала только в пятьдесят четвертом, потом снова уехала учиться в Россию, оттуда переехала в ГДР, а уж потом в Америку...

Но в этот раз я почему-то сказала то, чего никогда не говорю:

— Я родом из Эмска. Точнее, из Черной Пуши.

Старуха тихо ахнула:

— Когда ты родилась?

— В сорок втором. — Я никогда не скрываю возраста, потому что знаю, что выгляжу молодо, мне моих сорока трех никогда не дают.

Она обняла меня легкими ручками, и голубая ее прическа затряслась старческой дрожью:

— Боже мой, боже мой! Значит, ты выжила! Эта сумасшедшая родила тебя в землянке, мой муж принимал роды... А потом, не помню точно, кажется, месяца не прошло, она взяла детей и ушла неизвестно куда. Все уговаривали ее остаться, но она никого не слушала. Все были уверены, что вас схватят на дороге или в первой же деревне... Велик Господь — ты выжила!

Тут нас вынесло в прихожую. Мы просто расцепиться не могли. Стащили с вешалки нашу одежду — смешно, но шубы были одинаковые — толстые, лисьи, в Америке почти неприличные. Потом оказалось, что Эстер тоже из мерзлявых...

Поехали к ней — она живет в центре Бостона, на Коммонуэлс-авеню, в чудесном квартале, в десяти минутах от меня. Пока мы ехали — я за рулем, она рядом — у меня возникло такое странное чувство: всю жизнь я мечтала иметь кого-то старшего, мудрого, кто мог бы мной руководить, кого бы я могла слушать, радостно подчиняться, — и никогда такого не было. В приюте,

конечно, была строгая дисциплина, но это совсем другое дело. В жизни моей я всегда за старшего — взрослыми не были ни мать, ни мужья, ни друзья. А в этой старухе было что-то такое, что заранее хотелось согласиться со всем, что она ни скажет...

Вошли в ее дом. Она зажгла свет — в прихожей начались стеллажи с книгами, и они уходили в глубь квартиры. Она отметила мой взгляд.

— Это библиотека моего покойного мужа. Он читал на пяти языках. И масса книг по искусству. Надо найти хорошие руки, кому бы это оставить...

Тут я вспомнила, что именно говорила мне Карин: Эстер — бездетная вдова, довольно богатая, очень одинокая. Почти все родственники погибли во время войны.

Вот что мне рассказала Эстер: мою мать она увидела в первый раз в Эмском гетто, когда туда стали сгонять жителей из окрестностей — до того в гетто были только городские евреи. Они вроде бы добровольно туда заселились, потому что незадолго до переселения в гетто в городке было ужасное истребление евреев — их собрали на городской площади, между костелом и православной церковью, и начали убивать. Полторы тысячи убили, и оставшиеся в живых ушли в гетто.

Это было не обычное старинное гетто — один или несколько кварталов, где евреи обитали со времен Средневековья. В Эмске, наоборот, люди покинули свои дома в городе и перебрались в полуразрушенный замок, принадлежавший какому-то князю. Замок окружили колючей проволокой и поставили охрану. Поначалу даже не вполне было понятно: кто кого и от кого охраняет. Полицейские были местные, белорусские, немцы считали это ниже своего достоинства. А с белорусами отношения были понятно какие — им платили. Им за все платили. За деньги они приносили даже оружие.

— Твоя мать, — сказала Эстер, — была не из местных. Довольно красива, но очень резкая. С ней был маленький сын. Вспомнила ее фамилию — Ковач. Да?

Меня просто передернуло: я ненавижу эту фамилию. Я точно знаю, что у матери была другая фамилия, это какая-то партийная кличка или фамилия, написанная на одном из фальшивых документов, по которым она полжизни прожила. Да я и замуж вышла отчасти из-за того, что мне хотелось сбросить с себя эту кличку. Все были тогда в шоке: еврейка из Польши выходит за немца! Правда, Эрих тоже был коммунист, гэдээровский, — иначе его бы не пустили учиться в Россию. Мы и познакомились-то в России.

Я смотрела на Эстер, как ребенок на конфету: вот такую женщину, мягкую и тихую, элегантную по-европейски — шелковая блузка, туфли итальянские, но вместе с тем ничего напоказ, никакого американского простодушного шика — хорошо бы ее в матери, в тетушки, в бабушки. И обращается она ко мне «деточка»...

Без всякого с моей стороны нажима она мне рассказала следующее.

В гетто была сильная внутренняя организация, своя администрация и, кроме того, свой особый авторитет — знаменитый раввин Ширман, очень ученый и, как говорили, настоящий праведник. Сама Эстер и ее муж были польские евреи, оба врачи, переехали в тамошние края за несколько лет до войны. Исаак Гантман, ее муж, был хирург, а она зубной врач. То есть не вполне настоящий врач, но с хорошим специальным образованием — окончила стоматологическую школу во Франкфурте. Вольнодумцами они не были, так, нормальные евреи, могли зажечь субботние свечи, но могли и поехать в субботу в соседний город на концерт. Местные евреи считали их чужаками, но лечиться к ним ходили. Когда Германия

аннексировала Польшу, Исаак сразу объявил жене, что всему конец, надо оттуда выбираться — куда угодно. Думал даже о Палестине. Но пока они размышляли и прикидывали, оказались под немцами, в гетто...

Мы сидели в салоне очень хорошей квартиры, обставленной по-европейски — старомодно и, на мой глаз, с большим вкусом. Культурный уровень хозяев был явно выше моего — я это всегда чувствую, потому что довольно редко встречаю. Богатый дом. Гравюры, а не постеры. Мебель не гарнитурная, а явно собранная поштучно, и на каком-то низком шкафчике — большое мексиканское чудо из керамики — древо мира или что-то в этом роде.

Сидела Эстер в глубоком кресле, подобрав под себя ноги, по-девичьи, сбросив обувь — синие туфли из змеиной кожи. Я все эти детали всегда про себя отмечаю. Не зря моя мать считает меня мещанкой. Приют, детский дом — помню промерзшей спиной. А матери моей ужасающая нищета казалась нормальной жизнью. Может, она и в сталинских лагерях неплохо себя чувствовала. Но я, когда из сиротской бедности выбралась, каждую чашку, полотенце, чулок готова была целовать. Эрих в первый же год нашей жизни в Берлине, в Пренцлауберге, взял дополнительную работу — чтобы я могла покупать вещи: одежду, посуду, всё-всё-всё... Он знал, что я так лечусь от прошлого... Постепенно эта страсть стала проходить. Но все равно даже здесь, в Америке, мое любимое развлечение — гараж-сейл, распродажи, барахолка... Гриша, теперешний мой муж, смотрит снисходительно: он сам из России, вырос среди голодных до всего людей. И сын мой Алекс, родившийся уже в Америке, тоже обожает покупать. Так что мы настоящие «консюмеристы». Кажется, Эстер все это понимает.